

## Одинокое терпение

Здесь есть какое-то количество констант, казалось бы, вещей, которые не меняются со временем, а Айги – редкий пример поэта, работающего много, но при этом с неослабевающим, а кажется, даже и возрастающим напряжением. Тем удивительнее, что многое остаётся неизменным, переходит из текста в текст, из книги в книгу, не становясь более знакомым, а приобретая всё время какой-то новый объём и смысл. Поэзия Геннадия Айги – не та, о которой легко писать, – не в силу её пресловутой «герметичности», – как раз герметичности здесь не больше, чем в поэзии вообще, – а в силу некоторой парадоксальной простоты, не оставляющей большого пространства для более или менее хитроумных интерпретаций. Дело как раз в постоянной апелляции к неразъёмным вещам, к действительно элементарным частицам, – не языка, а чего-то другого.

Сон, поле, снег, ветер, лес, молчание. Белое, ночь, сумерки. На вопрос о значении сна сама Айги отвечает развёрнуто: прибежище, забвение, разговор с самим собой, чёрный костёр, сама поэзия, – в тексте 75-го года. Ландшафт он проборматывает в одном из интервью – в детстве окно выходило прямо в поле, деревни стояли в лесах, посреди болот, вся Чувашия оказывается таким сном посреди России, местом, где убийство случилось раз в несколько десятков лет, местом, где история была – не отменена, но поражена в правах, знала своё место. Чувашский язык оказывается убежищем, спокойным местом, куда он за руку отводит европейскую поэзию, чтобы она, наконец, почувствовала себя в безопасности. Русский язык оказывается языком трагедии, со-бытия, на нём проговаривается историчность, – только это не совсем та историчность. Айги прямо говорит, что поэзия не имеет никаких внеположенных целей, что весь её телеос – в ней самой. Поэтому напряжение здесь возникает в основном не от вторжения как таковой истории в текст, а из истории самой речи, из её неправильно сросшихся переломов и зияющих лакун. Для Айги существует собственная, полностью нигде не артикулированная (только фрагментарно) история русской поэзии, которая несёт на себе следы русской истории, – но история восстанавливается как событие, только по этим следам, оказывается вторичной сущностью, чуть ли не описанием речи.

Настоящее бытие для этих текстов происходит вне города, где история обычно проживает, оно как бы растворено в ландшафте, живёт там как шум ископаемого моря, не то высохшей травы. И Айги, который сам про себя говорит: «я – малевичанец», оказывается поэтом традиции в её чистом, самом древнем изводе. Парадоксальным образом, он приходит к свободному стиху не от желания освободиться от груза культурных напластований, столько от того, что отсутствие метра оказывается чем-то естественным, производным ландшафта: шум листвы, текущая вода. При этом смысл делания русских авангардистов с их попыткой очищения речи, Айги внятен и близок, но в его руках их инструментарий служит не отрицанию прежнего, а утверждению того, что он полагает, кажется, самым важным – стихийной, природной мощи языка, не укрощённого просодией. Использование свободного стиха для Айги – вопрос не процессуальности поэтического акта, когда свободное дыхание, как для Чарльза Олсона, оказывается важнее унаследованных ритмических структур. Верлибр здесь – средство приблизиться к тому, что лежит в основе существования. Говоря о ритме свободного стиха, Айги пользуется характерной терминологией: приливы-отливы, нерегулярные вехи, таящиеся в крови, Мир-Шум; почти прямо, умалчивая само слово (или не зная его), описывает фрактал: ««Свободное» стихотворение в моем представлении - насквозь пронизанное единым ритмом: "колебание волны" в каждой ритмической "ячейке" должно передаваться по всему стихотворению, по крупным или малейшим ритмическим периодам»<sup>1</sup>.

Снег, поле, лес, ночь. Время тишины. Время, когда речь оказывается вне контекста, говорит

---

<sup>1</sup> У нас были свои ненаписанные манифесты: разговор с польским другом.

сама с собой свободно (потому что ночь, и никого нет рядом, в том числе и великих теней). Время, когда каждое слово говорящего обращено к нему самому, – ситуация, в которой неоткуда ждать пощады, когда каждое слово оказывается отражением самого себя. Поэзия Айги разомкнута – в той степени, в которой разомкнут дом. Сюда приходят люди, он является неотъемлемой, укоренённой частью ландшафта, но сохраняет в то же время, свойство укрытия, защиты, оказывается местом спокойствия и молчания. Поле – не метафора, а овеществлённый «эрос пространства», свидетельство существования мира как открытого места, куда может вторгнуться иное. Лес – место обитания иного, из леса приходит темнота, «декабрьская ночь», в лесу живёт не угроза, а скорее, непрерывный шум, который на поле стихает, становится снегом, ветром, чистым безмолвием. Снег у Айги и есть молчание, покров. Когда выпадает снег, отвлекающие детали исчезают, остаются только предельные вещи, – холм и равнина, небо и земля. Снег – лакуна, пауза, обозначающая главное, когда стихи «очищены до молчания».

Отвечая на вопрос о назначении поэзии, Айги говорит о сохранении *тепла*, о том, что поэзия должна оставаться разговором человека с человеком. В другом месте он говорит о том, что времени на «экспериментирование» у него никогда не было. При том, что формально Айги для русской поэзии является «поэтом вне групп» (так он классифицирован в антологии неофициальной поэзии, составленной Г.Сапгиром и И.Ахметьевым), незаконнорожденным, в некотором смысле, – на самом деле, трудно отыскать в России поэта более почвенного, ближе находящегося к «корням травы», – и одновременно настолько же укоренённого в европейской традиции. Айги, прямо наследуя русскому авангарду начала века, который, несмотря на заимствованные самообозначения, является, возможно, наиболее *национальной* частью русской литературы, демонстрирует нам, как легко, без напряжения абсолютно органичная России поэтика сопрягается с поэтиками европейскими, – ни единого шва. В текстах Айги эти пространства входят и прорастают друг в друга, образуя единый ландшафт – в Сене, Висле, Немане и Волге течёт одна и та же вода, одинаково утоляющая жажду.

Главное, – говорит Айги, – одинокое терпение. Фигура стойкая, не соблазняющегося историей, но наблюдающего медленную тектонику, незаметную менее внимательному глазу жизнь ландшафта – человеческого, земного, небесного.